

На пути — эпизод 7 из 7

Иловайская спала, но видела лампадку и толстый нос, по которому прыгал красный свет.

Слышала она плач.

Дорогой папа, нежно умолял детский голос, вернемся к дяде! Там елка! Там Степа и Коля!

Дружочек мой, что же я могу сделать? убеждал тихий мужской бас. Пойми меня! Ну, пойми!

И к детскому плачу присоединился мужской. Этот голос человеческого горя среди воя непогоды коснулся слуха девушки такой сладкой, человеческой музыкой, что она не вынесла наслаждения и тоже заплакала. Слышала она потом, как большая черная тень тихо подходила к ней, поднимала с полу упавшую шаль и кутала ее ноги.

Разбудил Иловайскую странный рев. Она вскочила и удивленно поглядела вокруг себя. В окна, наполовину занесенные снегом, глядела синева рассвета. В комнате стояли серые сумерки, сквозь которые ясно вырисовывались и печка, и спавшая девочка, и Наср-Эддин. Печь и лампадка уже потухли. В раскрытую настежь дверь видна была большая трактирная ком-пата с прилавком и столами. Какой-то человек, с тупым, цыганским лицом, с удивленными глазами, стоял посреди комнаты на луже растаявшего снега и держал на палке большую красную звезду. Его окружала толпа мальчишек, неподвижных, как статуи, и облепленных снегом. Свет звезды, проходя сквозь красную бумагу, румянил их мокрые лица. Толпа беспорядочно ревела, и из ее рева Иловайская поняла только один куплет:

Гей, ты, хлопчик маненький,

Бери ножик тоненький,

Убьем, убьем жида,

Прискорбного сына...

Около прилавка стоял Лихарев, глядел с умилением на певцов и притопывал в такт ногой. Увидев Иловайскую, он улыбнулся во всё лицо и подошел к ней.

Она тоже улыбнулась.

С праздником! сказал он. Я видел, вы хорошо спали.

Иловайская глядела на него, молчала и продолжала улыбаться.

После ночных разговоров он уж казался ей не высоким, не широкоплечим, а маленьким, подобно тому, как нам кажется маленьким самый большой пароход, про который говорят, что он проплыл океан.

Ну, мне пора ехать, сказала она. Надо одеваться. Скажите, куда же вы теперь

направляетесь?

Я-с? На станцию Клипушки, оттуда в Сергиево, а из Сергиева 40 верст на лошадях в угольные шахты одного дурня, некоего генерала Шашковского. Там мне братья место управляющего нашли... Буду уголь копать.

Позвольте, я эти шахты знаю. Ведь Шашковский мой дядя. Но... зачем вы туда едете? спросила Иловайская, удивленно оглядывая Лихарева.

В управляющие. Шахтами управлять.

Не понимаю! пожала плечами Иловайская. Вы едете в шахты. Но ведь там голая степь, безлюдье, скука такая, что вы дня не проживете! Уголь отвратительный, никто его не покупает, а мой дядя маньяк, деспот, банкрот... Вы и жалованья не будете получать!

Всё равно, сказал равнодушно Лихарев. И за шахты спасибо.

Иловайская пожала плечами и в волнении заходила по комнате.

Не понимаю, не понимаю! говорила она, шевеля перед своим лицом пальцами. Это невозможно и... и неразумно! Вы поймите, что это... это хуже ссылки, это могила для живого человека! Ах, господи, горячо сказала она, подходя к Лихареву и шевеля пальцами перед его улыбающимся лицом; верхняя губа ее дрожала и колючее лицо побледнело. Ну, представьте вы голую степь, одиночество. Там не с кем слова сказать, а вы... увлечены женщинами! Шахты и женщины!

Иловайская вдруг устыдилась своей горячности и, отвернувшись от Лихарева, отошла к окну.

Нет, нет, вам туда нельзя ехать! сказала она, быстро водя пальцем по стеклу. Не только душой, но даже спиной ощущала она, что позади нее стоит бесконечно несчастный, пропащий, заброшенный человек, а он, точно не сознавая своего несчастья, точно не он плакал ночью, глядел на нее и добродушно улыбался. Уж лучше бы он продолжал плакать! Несколько раз в волнении прошла она по комнате, потом остановилась в углу и задумалась. Лихарев что-то говорил, но она его не слышала. Повернувшись к нему спиной, она вытащила из портмоне четвертную бумажку, долго мяла ее в руках и, оглянувшись на Лихарева, покраснела и сунула бумажку к себе в карман. За дверью послышался голос кучера. Иловайская молча, со строгим, сосредоточенным лицом, стала одеваться. Лихарев кутал ее и весело болтал, но каждое его слово ложилось на ее душу тяжестью. Невесело слушать, когда балагурят несчастные или умирающие.

Когда было кончено превращение живого человека в бесформенный узел, Иловайская оглядела в последний раз проезжающую, постояла молча и медленно вышла. Лихарев пошел проводить ее....

А на дворе всё еще, бог знает чего ради, злилась зима. Целые облака мягкого крупного снега беспокойно кружились над землей и не находили себе места.

Лошади, сани, деревья, бык, привязанный к столбу, всё было бело и казалось мягким, пушистым.

Ну, дай бог вам, бормотал Лихарев, усаживая Иловайскую в сани. Не поминайте лихом...

Иловайская молчала. Когда сани тронулись и стали объезжать большой сугроб, она оглянулась на Лихарева с таким выражением, как будто что-то хотела сказать ему. Тот подбежал к ней, но она не сказала ему ни слова, а только взглянула на него сквозь длинные ресницы, на которых висли снежинки...

Сумела ли в самом деле его чуткая душа прочесть этот взгляд или, быть может, его обмануло воображение, но ему вдруг стало казаться, что еще бы два-три хороших, сильных штриха, и эта девушка простила бы ему его неудачи, старость, бездолие и пошла бы за ним, не спрашивая, не рассуждая. Долго стоял он, как вкопанный, и глядел на след, оставленный полозьями. Снежинки жадно садились на его волоса, бороду, плечи... Скоро след от полозьев исчез, и сам он, покрытый снегом, стал походить на белый утес, но глаза его всё еще искали чего-то в облаках снега. смертельные прыжки (лат.).